
Иван КОНСТАНТИНОВ

РАССКАЗЫ

ЧЕТВЕРТАК

Никто и не заметил, как он вдруг оказался утром на подмостках «Четвертака», не проходя ни бармена, ни охранника, не запомнившись никому вокруг. Он просто взял и появился, как пьяный деревянный ангел в аккуратном черном костюме и маленькой шляпе-котелке, ради которого бог приподнял крышу.

Он представился Климовым Сергеем Викторовичем.

— Если позволите, я расскажу вам историю, — но ответа он дожидаться не стал.

Вот тогда-то все и началось.

Куб

Первая история, так уж и быть — радостная. А их, радостных, я пока что припомнить могу только одну — про кубик. Был у одного молодого человека, хотя впоследствии уже и не такого и молодого, один лишь куб. Хотя нет, не так. Вот не замечали вы, что когда кто-то говорит, что, мол, у кого-то было лишь что-то, то невольно кажется, что больше ничего у того, в сущности, и нет? В моем случае это все же не так. У того человека был и дом, ведь где бы иначе он свой куб держал бы, а если был дом, то, естественно, были и стулья. И стол, и кровать, и вообще все, что присуще иметь обычному человеку с обычной жизнью и обычными повадками. Хотя, если подумать, его-то и обычным назвать нельзя — вся эта история ой как давно происходила, что, быть может, нам сейчас странно, то тогда совсем и не странно, а может, и наоборот.

Как бы то ни было, меньше о спорном, а больше о бесспорном.

Как я уже сказал, был у человека куб — он достался ему от отца. А отец его откуда достал, никто и не знал, да то и секретом, быть может, и не было, если бы кто-нибудь додумался того отца просто по-человечески спросить.

А может, и отец сам не догадывался, что это за куб, равно как и сын его. А дом свой деревянный так вокруг этого куба и строил.

Не пролей бы сын воды на пол, так бы и не узнал, что то, что в углу дома все время стояло, — это никакой не кусок стены деревянной, а самый что ни на есть настоящий куб.

То, что это именно куб, а не просто многоугольник, узнали позже, но думаю, то, что я вам рассказал об этом заранее, истории только в плюс пойдет.

Куб был идеален — метр на метр. Человек мог бы сам в том убедиться, если бы смог оттащить его хоть на сантиметр от стены, но ни он, да и, что там говорить, никто другой так и не смогли куб тот передвинуть.

А погодите, я и не рассказал, как именно куб себя выдал, так ведь? Так вот. Вода, она-то пролилась, но тут же пропала с полу, и непохоже было на то, что она так быстро впиталась. Так это тот самый куб и сделал. Взял и всосал в себя всю воду.

Иван Вадимович Константинов родился в 1998 году в Санкт-Петербурге. Учится в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы. Ранее не публиковался. Живет в Санкт-Петербурге.

Куб оказался необычный. Хотя нет. Так можно было бы сказать, если бы вы или я видели кубы, подобные тому, раза три на дню, так что опустим, мы все же не в Египте и не у пирамид.

Впрочем, думаю, куб тот все же можно назвать необычным — ведь при слове «куб» чего-то мне вот в голову невольно приходит мысль о металле, камне или на крайний случай — дереве.

А тот куб сделан весь был из ржаного хлеба. Вот человек все удивлялся, почему у него каждый день, особенно в сырые дни в квартире, слегка пахнет свежим хлебом, и так и не успокоился, пока рядом случайно пекарню не открыли. Пускай для стороннего слушателя это теперь рождает только больше вопросов к миру окружающему, того человека это все-таки смогло успокоить.

Естественно, ровно до того момента, пока он куб хлеба не обнаружил.

Даже когда он уже понял, что наверху хлеба толстая ржаная корка, поверить в то, что тот целиком ржаной, разум не позволял. Но чем больше человек тот срезал слоев, тем больше корки в руках у него оставалось.

Хотя корка там была или не корка — кто уж теперь точно скажет. Корка, она-то ведь в чем-то как настоящее — смотреть на нее можно только прямо, иначе стоит чуть неправильно посмотреть, как корка уже никакая не корка. Ведь, в самом деле, какая может быть корка от корки?

А она все же была.

Пытался пару раз человек разрезать куб пополам — да нож слишком тупой был, и надоело быстро. А хлеб оказался вкусным — куда вкуснее, чем в пекарне напротив, от которой из приятного только запах выходил. Вот и перестал человек хлеб покупать.

Хотел человек хлеб переставить — да не получилось ничего. Тогда-то он, конечно, еще не знал, что куб больше двух тонн весил, да от этого знания ему ни тяжелее, ни легче не было бы. Хотя было бы, но не в том значении тяжести, что используется, когда ты хочешь передвинуть двухтонный куб хлеба.

Отчего-то человек подумал, что отец не просто так хранил хлеб такой, а прятал. Сразу тот подумал — украл. И как у него только совести хватило худшее на отца подумать? Впрочем, то на его совести.

Так он и стал хлеб есть да пекарню стороной обходить. Да и скрытным стал, как народ потом говорил. Подозрения копил.

Радость найденного была недолгой — даже та вкусная ржаная корочка уже на второй месяц надоела человеку настолько, что тот начал накрывать хлеб скатертью и использовать его, как раньше, — как стол.

А хлеб человек очень любил, но теперь, при родном кубе хлеба, он не мог позволить себе растрачивать деньги в пекарне.

Было бы еще веселье, если бы рассказать кому-нибудь удалось — да никто бы не поверил. А сказать тому, кто поверить мог, человек боялся: а вдруг подумают, что украл. А вдруг на самом деле украл.

Так человек и сидел, постепенно превращая когда-то идеальный куб в слегка обработанный массив из хлеба. Думаю, что и говорить не стоит, сколько счастья человеку тому было от того куба.

А к тому же Пекарь по чистой случайности начал находить связь там, где ее отродясь не было. Он вспомнил, как человек вдруг перестал покупать у него хлеб, и тут же хлеб ночью начал пропадать.

Естественно, никакого хлеба никто не крал. Вернее, крали, но крали всегда и зачастую тем занимались его подмастерья, которым он просто от жадности недоплачивал.

Тем не менее терпение у Пекаря лопнуло, и тот нанял пару крепких ребят пойти проверить, а не крадет ли тот человек хлеб на самом деле.

Идея, если подумать, была не слишком умной — ведь кто будет подолгу хранить свежий хлеб, а тем более краденый.

Человек все же, стоило только ему услышать, как в дверь к нему стучатся с недвусмысленными намерениями, запаниковал, поняв, что за краденым хлебом наконец пришли. И не задумывался он тогда, держа дверь, что куб хлеба лежит у него дома уже больше лет сорока и, вероятно, настоящие его хозяева либо мертвы, либо давно уже забыли о своем кубе. Это при условии, что у куба вообще был какой-то хозяин, кроме отца человека.

А на самом деле все то для человека было неважно, стоило ему только крикнуть что-то тем ребятам через дверь.

Услышав, что нужный им человек дома, двое богатырей одним толчком вырвали дверь из петель. Дверь же, не задумываясь, упала на голову человека, от чего тот взял и умер.

Поначалу двое расстроились от случившегося, но, обнаружив куб хлеба, подумали, что именно так подозреваемый хлеб и прятал.

Позвали Пекаря. Тот сразу понял, что хлеб не его, но и отказываться не стал. Хотел себе отнести — да не получилось даже втроем. Оттого и пришлось разрезать.

А оказалось, не зря.

Оттого куб и тяжелей в два раза больше нормы был, что не из одной корки тот состоял. Даже самая острая пила остановилась на середине: в глубине куба хлеба лежал огромный алмаз. Вот такая история с хорошим концом.

— А шо в ней хорошего? — спросил один утренний пьяница, устроившийся слушать у сцены.

— Как что? А как ты думаешь, на что половину города нашего построили?

— Так он что, бриллиант на полгорода обменял?

— А как иначе? Зачем Пекарю алмаз? Лучше уж иметь по три пекарни на каждый квартал, разве нет? Хотя с тем алмазом ему и работать больше не приходилось, да он особо и не хотел — при мысли о хлебе у него теперь были неоднозначные ассоциации.

— А все же почему тогда только на половину города?

— А про это и будет следующая история.

Зеркало

Вот вы никогда не задумывались, как бы выглядело наше окружение, построй бы его старый необразованный пекарь с ощутимым, но так и не осознанным чувством вины?

И в независимости от вашего ответа вы можете в любой момент выйти на улицу и просто посмотреть.

А ведь это даже забавно, не правда ли? Ходить по старому городу, воображать, как те дома, будто кусочки смальты, помогут хоть как-то почувствовать, как же люди жили тогда? А на деле что? А на деле это Пекарь то ли от счастья, то ли от горя пил в день по литру ослиной воды — отчего и не соображал толком, что, вероятно, даже лучше было бы, если бы его по пьяни не тянуло то и дело поправлять друзей-архитекторов.

Почему-то много у Пекаря друзей стало, стоило только тому разбогатеть. А тот, кто для него ослиную воду открыл, тот и вовсе остался до конца жизни лучшим пекарем-другом.

О хлебе Пекарь и думать забыл, в сущности, и пекарем-то его называть как-то смешно. Это как называть трехкратного чемпиона по плаванию кассиром только за

то, что тот однажды между вторым и третьим курсом летом подрабатывал на кассе ночью.

Но как бы то ни было, другого имени не сохранилось. И что-то подсказывает, что Пекарь сам того захотел. А почему? Быть может, вы и поймете, когда я дорасскажу, а быть может, даже и мне удастся понять.

Вот и казалось бы, что же такого должно произойти, чтобы Пекарь разлюбил хлеб? А я вам так скажу: ничему особенному и происходить-то не нужно, ведь пекарь-то обычно и не любит хлеб — просто хлеб у него печь получается. Так было с этим пекарем.

Он часто лежал на своей толстой кровати и размышлял, что бы произошло, если бы он стал заниматься тем, чем ему на самом деле хотелось.

А чем ему хотелось заниматься? Так этого до нас не дошло. Каждый раз, когда он задумывал поразмышлять о подобном, ему сразу вспоминалось, что в любом другом развитии его судьбы невозможно было бы представить ни одной ситуации, где бы он смог бы разбогатеть.

Но все же это казалось только нам, ведь с нами ничего подобного пока что не происходило. А вот Пекарь, стоило с ним случиться чему-то почти что сверхъестественному, так он сразу же решил, что он поймал только самую малую часть своей удачи.

К счастью для него, Пекарь и понятия не имел, что и где ему искать. Хотя сомнительные попытки все же были. Не просто же так Пекарь понастраивал всех этих домов? Он предлагал обменять жителям старых деревянных хибар их жилье на новые и комфортные дома с роскошной мебелью в обмен на их старый дом.

И отчего он думал, что если он нашел огромный алмаз в одном доме, то в каком-нибудь другом доме найдется что-нибудь подобное, а может быть, и получше?

Пекарь ничего и нигде не нашел. Но произошло это уже настолько поздно, когда Пекарь уже был таким дряхлым, что был уверен, что не успеет потратить даже имеющиеся деньги, что уж там говорить о новых.

По утрам он выходил на балкон своего нового высокого дома и смотрел, как там происходит стройка. А там все было чудовищно плохо. Рабочие, хоть и получали куда больше, чем обычно, работали спустя рукава, ведь знали, каково на самом деле богатство у Пекаря. А те, кто не знал, пытался вообразить и воображал такое, что уж лучше бы знал настоящую величину.

Одно было ясно: даже при слепом и оптимистичном взгляде на собственную жизнь Пекарь понимал — он умрет раньше, чем все достояется.

Город тем временем был перестроен едва ли наполовину, что немало расстраивало Пекаря, который вдруг осознал, что в отличие от самого лучшего хлеба даже самый плохой дом какой-то отпечаток в истории да оставляет.

Этому Пекарю, что делал откровенно посредственный хлеб, не хотелось думать о том, что рецепт по-настоящему хорошего хлеба люди сохраняют лучше любого безвкусного дома, да и зачем Пекарю о том думать, если к тому времени он уже давно хлеба даже в руках не держал.

Но в воздержании от хлеба были и свои плюсы: Пекарь, выходя из спальни, все чаще засматривался на свое новое изменившееся тело. К тому же хронические стрессы от навалившегося богатства только усилили этот эффект.

И Пекарю настолько нравился его внешний вид, что он и внимания не обращал на то, как же быстро он стареет.

Пекарь все больше проводил времени дома, купил в каждую комнату по зеркалу, ел перед зеркалом, и, говорят, даже в ванне у него висело зеркало на потолке, которое Пекарю лежа приходилось чистить шваброй, чтобы то не запотевало.

Перед тем как стать совсем мертвым, Пекаря осенила одна мысль. Все, что он ни видел в зеркале, казалось ему интереснее и красивее, чем истина, а почему, Пекарь никак понять не мог. Сколько раз он приказывал слугам отзеркаливать мебель в каждой комнате, но стоило ему снова посмотреть в зеркало, как то подсказывало ему, что раньше было лучше.

Устав от перестановок, Пекарь просто заменил зеркалами все, что было возможно.

А потом ему в зеркало, что стояло напротив балкона, попал кусок крыши одного из новых домов, и тогда Пекаря и осенило.

Он тут же заказал зеркало, крупное настолько, что его можно было положить боком, и тогда половина города становилась целым.

Но в конечном итоге Пекаря ждало одно только разочарование. Увидев, какой же прекрасный город в отражении, Пекарь очень хотел сделать первую часть хотя бы вполовину настолько же чудесной, как и зеркальная, и даже заказал второе зеркало.

Но случилось Пекарю умереть до того момента, когда второе зеркало в город привезли. Рано или поздно зеркало все же прибыло, деньги ведь за него уже заплачены были. Вот только что с ним делать — никто, кроме Пекаря, не знал. Может, тылом к первому зеркалу поставили, а быть может, на мелкие куски разбили и перепродали.

— Значит, ты утверждаешь, что у нас не целый город, а только половина? Что за бред?!

— А вот вы, уважаемый, в какой части города живете? В левой или в правой?

— В левой.

— А в правой хоть раз были?

— Ну, видел издалика, а чего мне там делать?

— Вот сходите и проверьте, а остальным предлагаю послушать третью историю, которая не меньше перемежается со второй, нежели вторая с первой.

Ослиная вода

Слышал ли кто-нибудь из вас об ослиной воде? Исходя из того, что вы все почему-то решили напиться с утра, я мог бы предположить, что все-таки знакомы.

Но при более детальном внимании на ваших недоуменных лицах я понимаю, что подобный термин для вас в новинку. Оно-то, впрочем, и понятно, уже и лет столько прошло — уже которое поколение ослиной воды не делает, да даже если бы и надумали сделать какое-нибудь ее подобие, то любой наш современник все равно потерпел бы неудачу. Дело-то ведь в том, что те ослы, которых мы можем наблюдать сейчас, никакие не ослы, а, скорее, куланы, оттого никакой ослиной воды и получиться не может.

И да, должен отметить: не стоит путать ослиную мочу с ослиной водой, пусть это и первое, что приходит на ум.

Кто же бы стал добровольно пить мочу, а тем более всем про это рассказывать.

Если отойти от привычного названия того напитка, то, по сути, это было ослиное молоко, да не совсем простое.

Свойства его открыл один из ослиных пастухов, чьи ослы имели обыкновение забредать в очень интересные места, полные различных интересных трав.

Однажды они оказались на маковом поле или еще каком-то поле, где взяли и умерли все разом, съев что-то не то.

А это было главной ценностью Пастуха. Тот в отчаянии не знал, что и делать — на новых ослов у него денег не было никаких. Зато дома у него хранилось много ненужных в повседневной жизни вещей. Таких, как стеклянные бутылки, все кривые

и косые. Они были напоминанием Пастуху о том, когда он пробовал себя в профессии стеклодува.

Но ничего, кроме пастуха, из него так и не вышло, по крайней мере, до того, пока он не открыл для себя ослиную воду.

В отчаянии Пастух наполнил все имеющиеся у него емкости молоком уже мертвых ослиц и хотел было продать его, но дорога от дома до поля была такой долгой, что только на третий день он опустошил последнюю ослицу, молоко из которой лилось уже с трудом и на цвет было уже не сероватым, как первое, а практически черным.

Как бы плохо все это ни выглядело, Пастух понимал, что это единственный из всех доступных ему вариантов, где у него есть хоть какой-то шанс вернуть все, как было.

И хотя теперь содержимое бутылок за качественное молоко выдать никак не удастся, Пастух все же был твердо намерен продать каждую из этих бутылок.

Но раз уж за молоко такое сойти уже не могло, то Пастуху нужно было придумать, чем же назвать его товар. Мысль о том, что все ослы отравились от той травы, не давала Пастуху покоя. Пить такое ему было боязно, но если уж он решил продавать, то хоть немного, но попробовать он был обязан.

Пастух нашел самую на вид белую бутылку из всех, несмотря на то, что к тому вечеру уже почти каждая бутылка потемнела почти до непроглядности.

Вырвал самодельную крышку из промасленной ткани и, закрыв глаза, выпил. К его удивлению, на вкус даже было почти что вкусно, а молоко не чувствовалось вовсе — будто это не молоко было, а вода. Ослиная вода.

И в голову дало ой как сильно. Настолько, что Пастух боялся лечь спать, а завтра не вспомнить, что это за бутылки и откуда. Оттого ему перед сном пришлось расписать все, что произошло с ним за последние три дня.

А утром Пастух не проснулся, и кто же его разберет почему. Может, оттого, что три дня не спал, или оттого, что слишком много пил, а быть может, и просто его время пришло.

А никто и не заметил, что Пастух умер, ведь тот жил в таком отдалении от города, что никаких друзей-знакомых у него не было.

Так и простояла вода вместе с домом вокруг нее не один и не два месяца, пока беглый каторжник, прячась в горах от погони, не решил спрятаться в покинутой хибаре Пастуха.

Там он нашел и труп и воду. Труп Каторжника не волновал нисколько, тем более такой старый и сухой труп.

Каторжник даже спал на той же кровати, на которой умер Пастух, лишь перевернув сено обратной стороной. Труп же Каторжник похоронил прямо за хибарой. То ли из благодарности, то ли оттого, что в любом другом месте тот бы обязательно бросался в глаза.

Ослиную воду же Каторжник обнаружил чуть ли не раньше, чем то большое мертвое тело в этом маленьком жилище.

Каторжник принял закупоренные бутылки молока за бутылки домашнего вина, да его за это трудно винить, ведь маленький дом Пастуха трясся от каждого дуновения ветра, а из-за этого тряслись и бутылки с черной водой, и даже стоило воде только коснуться стекла, как на нем тут же оставался толстый черный налет.

Оттого Каторжнику и показалось, что это бутылки черные, а не сама жидкость, и в том Каторжник был отчасти и прав, и бутылки на самом деле были черны, вот только изнутри.

Страдающий от жажды Каторжник осушил бутылку залпом и тут же замертво упал.

Но в отличие от Пастуха Каторжник не умер, а только сильно захмелел, к чему Каторжнику было не привыкать.

Проснувшись с сильной головной болью, Каторжник только убедился в том, что это был некий домашний самогон, ведь для вина напиток был слишком крепким.

Если бы в доме Пастуха было бы зеркало да к тому же если бы Каторжник не имел большой черной и грязной бороды, то он бы обнаружил, что рот его, как и стенки бутылки, теперь стал абсолютно черным.

Оттого Каторжника и звали Чернорот, а почему, Каторжник до поры до времени не понимал.

После дальнейших опытов с ослиной водой Чернорот понял, что ему очень повезло, когда он выпил целую бутылку и остался жив-здоров. Вода оказалась куда крепче, чем любое вино, и Чернорот понял, что если разлить воду по более мелким бутылкам, всем это пойдет только на пользу.

Труднее всего оказалось продать первую бутылку, ведь одежды Чернорота были порваны и грязны, а лицо его не вызывало доверия.

Чтобы его хотя бы кто-то послушал, Чернороту пришлось долго отмываться в холодной весенней воде и стричь бороду ножницами для стрижки скота.

Одежды у покойного Пастуха было немного, но она все же была лучше, чем то, что имел Чернорот сейчас.

Вот только и пастуху с непонятной грязной бутылкой в городе доверяли не больше, чем беглому каторжнику, и Чернороту приходилось пить из черной бутылки, чтобы доказать, что он не задумал ничего плохого.

Чернорот все пил и пил, но все не мог продать бутылку и все больше хмелел, а над ним, пьяным, все только и делали, что смеялись.

Где-то на половине бутылки, под ночь, Чернорот потерял сознание. А когда проснулся, на нем не было ни одежды, ни бутылки, только на шее появился кошель.

А кошель того с лихвою хватило и на красивые дорогие бутылки, и на новую роскошную одежду.

Уже через неделю Чернорот разлил все из бутылок в бутылочки, и результат его тогда немного разочаровал. Из целой бутылки выходило, дай бог, полбутылки напитка, остальное же было не чем другим, как твердым остатком, который даже при желании было невозможно выудить из емкости.

Вскоре дело пошло в гору: Чернорот встретил Пекаря и, как обычно, представившись торговцем из далеких земель, угостил уже обезумевшего от богатства Пекаря, стремительно став его лучшим другом.

Чернорот стал первым из тех, кому было позволено заселиться в новый каменный дом, но весь свой склад ослиной воды он так и держал в хибаре Пастуха, боясь, что его обкрадут или сделают еще что-нибудь похуже.

По той же причине Чернорот доставлял клиентам ослиную воду исключительно лично. Конечно, тогда она еще не была ослиной водой, а называлась как-то по-другому, но название это до наших дней не дошло.

То, что напиток его называется ослиная вода, Чернорот узнал только годами позже, когда постоянное пребывание в высшем обществе вынудило его все-таки научиться читать и писать. Вот тогда он и прочитал последнюю записку Пастуха, что, как ему показалось тогда, было как нельзя кстати, ведь запасы ослиной воды у него уже практически исчерпались.

А потом оказалось, что лучше бы Чернорот ничего и не находил, ведь стоило ему только намеренно сделать все то, что ненамеренно сотворил Пастух, и наконец попробовать свежей, еще не почерневшей ослиной воды, как той же ночью Чернорот умер.

— Так ты так и не рассказал, как Чернорот понял, почему его Черноротом зовут?

— А так неужели не ясно? Взял и в зеркало посмотрел.

- Так и что, они все просто померли, а о них никто и не вспомнил?
- Ну почему же не вспомнил?

Шестнадцатый табурет

После смерти Пекаря о нем, естественно, не забыли сразу же. Люди хоть и быстро забывают хорошее, но все же не настолько.

Пускай Пекарь и не оставил ничего из своего состояния народу, все же он и так сделал немало. Оттого дом его, оставшийся без хозяина, не стали ни опустошать, ни заселять кем-то иным.

Губернатор того времени решил сохранить жилище Пекаря как объект особой культурной ценности для будущих поколений, сделав из дома музей. И там за деньги из казны до конца своих дней сидел смотритель и следил за тем, чтобы все оставалось на своем месте.

Смотрителю запрещалось покидать музей шесть дней из семи, но зато разрешалось пользоваться всеми удобствами дома Пекаря при условии, что все будет оставаться на своем месте.

Еще одной обязанностью Смотрителя было проведение экскурсий, на которые и не ходил никто, кроме школьников в добровольно-принудительном порядке, людей, которые, когда бы они ни жили, все равно тосковали по прошлому, и самого Губернатора.

Отчасти это было забавно, что именно тот человек стал смотрителем, ведь он родился после того, как Пекарь умер.

Прошлый же смотритель тоже ни разу не видел Пекаря лично, но хотя бы жил с ним в одном поколении.

Из-за этого туры по дому каждый раз имели свой колорит, в зависимости от того, о чем думал и в каком настроении был Смотритель.

Но основную свою задачу Смотритель выполнял и помнил расположение каждого предмета интерьера до градуса.

Трудности в этом большой не было — под конец жизни Пекарь выкинул и заменил все зеркалами.

Понятие самого необходимого у Пекаря все же было довольно своеобразным: у него не было ни стола, ни нормального стула, ни шкафа — зато было шестнадцать маленьких табуретов из красного бархата, обитых золотистой бахромой. И в среднем на каждую комнату приходилось по два табурета.

Губернатор очень ценил те табуреты, и на то были объективные причины — не смотря на все сказочное богатство Пекаря, образ жизни в последние его годы можно было с натяжкой даже назвать аскетичным.

И табуреты там, безо всяких преувеличений, казались самым дорогим экспонатом в музее. Конечно же, на самом деле все было не совсем так, ведь те практически идеальные зеркала, что были закуплены Пекарем, были куда дороже, чем любой бархатный табурет.

Но кто же будет считаться с зеркалом, когда, смотрясь в него, ты только и видишь, что собственное отражение.

И каждый раз, когда Губернатор приходил в музей, он не покидал его, пока не удостоверился, что табуретов в доме ровно шестнадцать штук.

Думаю, что даже если бы я вам не сказал, вы все бы и так поняли, что с табуретом что-то случилось.

Вот и случилось.

В середине рабочей недели Смотритель проснулся и после утренней проверки не обнаружил шестнадцатого табурета. А быть может, не шестнадцатого, а какого-нибудь тринадцатого или вовсе восьмого.

Так или иначе, точный номер табурета был уже не важен — кара за каждый из них была одна и та же — каторга.

Смотритель даже сразу и не понял, что же на самом деле произошло, и все ходил кругами, пытаясь все же найти недостающий табурет. Но табурета нигде не оказалось.

Думать о том, что кто-то ночью забрался в дом и выкрал один из табуретов, было еще глупее, чем если бы Смотритель вдруг решил, что это он сам в беспамятстве украл табурет сам у себя.

Вариант с воровством был вовсе невозможен: еще Пекарь поставил на все окна решетки — Губернатору лишь стоило повесить на них замки. Открытых мест у дома было только два — входная дверь и выход на балкон. Но и первое, и второе размещалось на одной стороне дома и неустанно находилось под наблюдением городской стражи.

Казалось, будто кто-то приподнял крышу и забрал табурет, пока Смотритель спал. И именно забрал, а не украл, ведь тот, кто обладает подобной силой, наверняка имеет право брать любые, даже самые бархатные, табуреты.

И Смотритель все еще лелеял надежду, что просто переставил табурет куда-то, пока не обнаружил в доме Пекаря один предмет, которого точно не было там раньше.

Потом Смотритель сопоставил свои воспоминания с реальностью и понял, что новый предмет находился прямо на месте шестнадцатого табурета.

Теперь вместо табурета, так высоко, что ее даже не закрывало зеркало, висела картина. А Смотритель кое-что да успел понять о владельце этого дома. И одним из наблюдений было то, что Пекарь совсем не любил картины, как и прочие виды искусства. Казалось, он достаточно был удовлетворен своими свершениями в архитектуре.

Но вот теперь одна картина у Пекаря появилась.

Встав на пятнадцатый табурет, ведь терять уже было нечего, Смотритель снял картину со стены.

Что именно было на той картине, до нас не дошло, но это было и не так уж важно, ведь картина поясняла себя надписью на своей обратной стороне:

Жимолость и Лапсердак. История вечной любви.

Быть может, если бы на той неделе Губернатор пришел на день позже обычного, то до нас дошло бы чуть больше. Но Губернатор был слишком для того пунктуален.

— Так, а что случилось со Смотрителем?

— Да черт его разберет. На каторгу отправили, наверно.

— А при чем там картина?

— А про картину я сейчас все расскажу.

Жимолость и Лапсердак

Конечно же, Смотрителю от этого стало бы не легче, но все же жаль, что картина, которая отчасти разрушила его дальнейшую судьбу, так и не раскрыла ему всех ее тайн. Так она решила поступить со следующим смотрителем, ровно тогда, когда стала полноправным экспонатом дома Пекаря, ведь никто никогда не видел, как кто-нибудь выносил шестнадцатый табурет и на место его приносил картину.

Так что самым очевидным вариантом становился вариант единственный: картина взяла и заменила табурет. Так думали, но не говорили. Оттого Губернатор так и не простил Смотрителя, ведь не мог сказать наверняка, что же на самом деле произошло тогда. Ходили слухи, что под конец жизни Губернатор хотел было простить Смотрителя, но умер, так и не решившись.

С того инцидента вместо одного смотрителя Губернатор подрядил двух. И в этот раз, стараясь избежать повторения случившегося, Губернатор выбрал смотрителя не

случайно, а посредством многоступенчатой проверки, проверяющей все качества, которые были так необходимы, по мнению Губернатора, идеальному смотрителю. В проверку вошли такие качества, как:

- базовое знание региональной истории вплоть до двадцати пяти поколений назад;
- исключительное знание истории жизни Пекаря и его деяний в пользу города;
- верность;
- послушность;
- аккуратность.

И хотя по трем последним пунктам подходили почти все, по первому, а в особенности второму, все было плохо. Настолько плохо, что всем пунктам соответствовал только один человек, но тот соглашался вступить в должность только при условии, что его жена также станет смотрителем и будет жить в доме Пекаря вместе с ним.

Губернатор, хоть и не планировал тратить на смотрителей в два раза больше, все же был вынужден согласиться, ведь случай с шестнадцатым табуретом все еще не покинул его памяти.

Но даже когда смотрители наконец были найдены, один факт не давал Губернатору порадоваться выполненной задаче: новые смотрители были так стары, что были старше даже самого Пекаря, а значит, даже при самых оптимистичных прогнозах уже через пару лет придется искать новых.

А поняв, как хорошо знают историю люди сейчас, Губернатор прекрасно понимал, что через пару лет все станет только хуже.

А вот стариков смотрителей это ничуть не волновало, и они были так счастливы своей новой работой, что даже отказались от своего единственного дня, когда они могли покидать дом Пекаря.

Несмотря на все их обширное знание жизни Пекаря, даже они не могли наверняка сказать, откуда появилась эта картина и куда делся шестнадцатый табурет.

Но тот факт, что сзади картины были написаны их имена, о чем-то да говорил. А сама картина говорила еще о большем.

Да, прошу меня простить за то, что в прошлой истории мне пришлось вам солгать. Это, как вы поймете, было для вашего же блага, и теперь я скажу все, о чем умолчал тогда.

Вернее, я и не прям так уж соврал, сказав, что не знаю, что именно Смотритель увидел на той картине — ведь он на самом деле не увидел ничего.

А Лапсердак и его жена Жимолость увидели не что иное, как себя в прошлом, и стоило им только себя увидеть, как прошлое вновь стало настоящим.

Сразу скажу: ни Жимолость, ни Лапсердак, так никогда не покинули дома Пекаря. Поначалу их еще навещал Губернатор, больные и старые глаза которого уже не могли отличить день от ночи, что уж там говорить о молодых и старых.

А потом, когда Губернатор умер, к ним вовсе перестали приходить. Деньги из казны по привычке выделяли, а ходить — никто не ходил. Так они там и остались.

— А зачем ты нам все это рассказываешь?

— А кто ж его знает. Но быть может, последняя история поможет вам разобраться что да как. Хотя на деле это и никакая уж и не история.

Один из двадцати пяти

— Знаете, мне не дает покоя одна идея, которой со мной поделился кто-то, кого я уже и не помню. Говорил он, что есть один из двадцати пяти шанс на то, что наша реальность на деле никакая и не реальность вовсе.

— А тогда что?
— Вряд ли мы бы это когда-нибудь узнали. Быть может, иллюзия, быть может, пародия.

— Так что получается, у нашей реальности есть двадцать четыре копии?

— Я хотел подвести вас к другой мысли, но в принципе все может быть и так. Может быть даже такое, что Жимолость и Лапсердак в другой реальности никакие не имена, а, например, растение и какой-нибудь старомодный пиджак. Всякое может быть.

С того момента, когда Сергей Викторович только появился, народу вокруг него собралось немало. Но заметив, что больше никто уже не задает вопросов и даже не смотрит в его сторону, Сергей Викторович понял, что пора уходить.

Он попытался спуститься со сцены, но оступился, словно никогда не забирался сюда раньше. Оступился и упал прямо на грязный и пыльный пол, запачкав костюм и помяв шляпу.

И время остановилось.

Крыша бара осторожно приподнялась и, аккуратно забрав Сергея Викторовича из бара, пропала.

Виктор Климов взял щетку и, держа Сергея Викторовича большим и средним пальцами, осторожно стряхнул с его костюма пыль. Пинцетом осторожно поправил шляпу и, посмотрев на Сергея еще раз, приподнял крышу снова и положил Сергея Викторовича на место.

Увидев, что зеркало чуть-чуть наклонилось вниз, Виктор Климов вернул его на место.

В ящике у него лежали надломанный и, к сожалению, уже пустой куб хлеба, шестнадцатый табурет и несколько маленьких фигурок ослов.

Виктор Климов мог бы еще сколько угодно долго смотреть, как живет его город, но хлеб уже пора было доставать из печи.

Виктор Климов вышел, выключив за собой свет и погрузив город в ночь.

СМЕРТЬ ЕВЫ КРАМЕР

Ева Крамер знала, что не стоит сегодня включать телевизор, как не стоит и читать газет. Тем не менее она все же не удержалась.

Ева Крамер — пожалуй, нет в нашей новейшей истории более узнаваемого и в то же время более ненавистного имени. Об ее заслугах перед обществом и говорить-то не стоит — среди ее подвигов каждый с легкостью сможет найти что-то на свой вкус: тут вам и громадный ущерб экологии, громадный рост безработицы, массовые беспорядки и так далее и тому подобное.

А все же старуху можно поздравить — как-никак восьмой десяток идет. И ведь подумать только, до сих пор не сдохла. Вот недаром говорят, что лучшие из нас уходят раньше всех.

Впрочем, не буду больше портить вам, дорогие телезрители, настроение лишним упоминанием этого, если ее, конечно, можно так назвать, человека.

В этот год, как и в сорок девять предыдущих, мы торжественно присуждаем нашей дорогой Еве титул худшего человека года две тысячи шестьдесят второго.

В этот раз, в честь юбилея, и Евы, и премии, мы выполнили нашу ежегодную премию из чистого золота — быть может, хоть в этот раз Ева сообразовалась ее забрать?

— Почему же ты не приходишь к нам, Ева? Неужели ты нас боишься? Не стоит — мы ведь все так сильно тебя тут любим, не правда ли?

— Все, все, я осознала свою ошибку, а теперь прошу тебя, выключи это недоразумение, — устало произнесла Ева.

— А я вас, Ева Феликсовна, между прочим, предупреждала, — встав по стройке смиренно перед развалившейся на диване Евой, как-то даже слишком надменно произнесла Софья. — Начинать такой хороший день с таких телепередач — ни к чему хорошему не приведет.

— Ну и что же такого хорошего в сегодняшнем дне, а, Соня?

— Ну как же, сегодня же ваш...

— Да не про это я, — запнулась Ева, — господи. Я еще не настолько стара, чтобы забыть дату собственного рождения.

— Простите, я подумала... — было начала Софья.

— Да понимаю я. Иди, иди пока что по своим делам. Если что, я тебя позову.

Софья послушно ушла, оставив Еву одиноко лежать на белом кожаном диване, стоящем на белом полу и окруженном белыми стенами.

Зазвонил телефон, что лежал у дивана на белом журнальном столике. Номер Еве был прекрасно знаком, пускай и видела она его впервые:

0(000)000-00-00

Такой номер вовсе не мог существовать, а значит, принадлежать мог только одному-единственному человеку, которого Ева знала куда лучше, чем ей иногда хотелось бы.

Но несмотря на то, что Карл Миллер был одним из тех, кто намеренно разрушил ее репутацию и карьеру только ради своей личной выгоды, почему-то сейчас Ева ничуть не ненавидела его, не презирала и даже не недолюбливала. Да и все то, что произошло между ними более чем пятьдесят лет назад, теперь уже казалось какой-то детской игрой, настолько, что каждый раз, когда она силилась вспомнить что-то из своей молодости, ей приходилось убеждать себя, что это не ее выдумка и не бред, а все то происходило на самом деле.

Так что когда в свой день рождения на телефоне Евы показалось знакомое имя, она незамедлительно ответила, пускай и знала, что уже давно никому не давала никаких своих данных.

Но разве правила и нормы распространялись на таких, как Карл Миллер? Он всегда делал то, что хочет, так, как хочет и с кем хочет.

Сейчас же, когда от пожара прошлых скандалов остался один тлеющий пепел, их общее с Карлом прошлое не вызывало ничего, кроме стыдливых смешков про себя. Мистер Миллер все же был человеком абсолютно экстраординарным, при всей его мстительности и жестокости.

Уже в пятнадцать лет его состояние составляло почти что двести миллионов еще старых долларов, и, что самое важное, те деньги были не наследством от богатых родителей и не удачным стечением обстоятельств — каждый заработанный им доллар был не чем иным, как результатом усердного труда и незаменимого вклада в науку.

Ева искренне восхищалась бы Карлом и дальше, если бы в его шестнадцатилетие их глупый и нелепый роман не кончился бы обвинениями в изнасиловании и совращении несовершеннолетних.

И хотя тогда все обошлось — один из лучших адвокатов в столице, а значит, и в мире вытащил ее из пучины позора, пускай и не без приемов, по меньшей мере, спорных. Тем не менее Ева знала, что она на самом деле не виновата ни в чем, за исключением того, что вовсе связалась с этим Миллером.

Рубец на ее до того момента безупречной биографии все же остался, и Ева прекрасно знала, что подобное будут помнить долго, но она даже и не подозревала, что настолько.

Потом Миллер сделал много чего еще, но там Ева хотя бы могла адекватно ответить и оттого не могла злиться на своего прямого конкурента.

И теперь, когда первое слово, которое она слышала от Миллера, было не чем иным, как «прости», она не могла просто повесить трубку и представить, что ничего не случилось.

Миллер был очень немногословен. Ева помнила, что таким он все же был не всегда.

Миллер предложил встретиться — поначалу предложив свой особняк как место встречи, затем нейтральную территорию, но услышав два уверенных отказа Евы, согласился приехать к ней в гостевой особняк.

Ева владела порядка двадцатью объектами недвижимости, хаотично разбросанными по столице и пригородам. Каждый дом служил своей цели, в каждом она принимала разных гостей. В свою домашнюю резиденцию Ева не приглашала никого и никогда, а персонал завозили в условиях исключительной секретности. В контексте своего дома Ева практически дошла до безумия — даже она сама толком не знала, где именно живет.

Тем не менее даже самые отчаянные предосторожности были полностью оправданы: недоброжелателей у Евы было больше, чем звезд на небе. Намного больше, чем звезд на небе. Несравнимо больше.

Слепая народная ярость дошла до того, что каждый второй телеканал имел передачу, которая прямо либо косвенно проезжалась по скандальной личности Крамер.

С годами Еву это уже практически не трогало, одного только она не могла понять: зачем же так обсасывать то, что ты искренне ненавидишь? Неужели люди получают искренне удовольствие от того, что ежедневно брызжут желчью во все стороны? Получалось, что все именно так.

А почему все так, Ева знать не знала, но зато знала, как из стволовых клеток свиньи построить любую, какую только пожелаешь, биологическую структуру. Только теперь, как показалось Еве, когда ее открытия и достижения по прошествии времени стали данностью, неоспоримые достижения с Евой уже не связывали, а ее сомнительные прегрешения ой как хорошо помнили.

И это было больно, по-настоящему больно осознавать, что когда умрешь, все вокруг только обрадуются, несмотря на то, что многие ненавистники Евы, сами того не подозревая, живут только из-за ее проклятых открытий.

По этому поводу Ева уже почти не плакала — иногда только, бывает, идет на кухню или по коридору, а потом как нахлынет. Потом Софья, что была единственным доверенным лицом Евы, находила старушку тихо рыдающей на полу.

Софья для Евы была всем: и секретарем, и советником, и дворецким, и, быть может, даже другом, если признать, что дружбу можно купить за деньги. Естественно, Софья до сих пор не покинула Еву только из-за денег, отрицать это было бы глупо. Но можно ли за это осуждать?

Ева Крамер была настолько ненавистной персоной, что даже пребывание рядом с ней уже могло испортить репутацию любого маленького человека.

Уже давно Ева не выходила из дома просто так, уже давно она ездила только в машине с тонированными стеклами, уже давно она посещала только те вечеринки, которые сама же спонсировала, но и там она не могла скрыться от вездесущего, пускай и молчаливого презрения в глазах ее так называемых друзей и знакомых.

Сегодняшняя встреча с Карлом не походила ни на любую другую деловую или околоделовую встречу. Ведь с людьми, подобными Миллеру, даже самая неформальная встреча всегда приобретала какой-никакой деловой окрас, что часто разочаровывало Еву. Себя она позиционировала скорее ученым, нежели предпринимателем.

Из-за этого Ева отчасти даже была приятно шокирована тем, что Карл предложил встретиться сегодня же и всего-то через полчаса.

И уже через двадцать минут беспилотный стелс-вертолет Евы приземлился на вертолетную площадку загородного дома номер двенадцать, а еще через десять минут Карл уже сидел в просторной гостиной тет-а-тет с Евой.

Карл практически не постарел, как тогда показалось Еве. За свою долгую жизнь Ева успела заметить одну особенность любой активной публичной личности: они появляются на экранах так часто, что ты даже и не замечаешь, как сильно они постарели, ведь они каждый день становились все старше, и переход из молодости в старость был максимально плавным.

Что же говорить о Еве, которую и фотографировать-то уже лет сорок практически не удавалось. Никто в точности не знал, как она выглядит, хотя было много смелых попыток искусственно состарить ее ранние фото. Но так как не с чем было сравнивать, никто, кроме Евы, не знал, насколько же все те художники близки к истине.

Оттого, что никто не знал ее лица, Ева ощущала себя каким-то извращенным подобием лучадора — вот только она не носила маски, и ни единый человек в мире не считал ее героем.

Нет, были, конечно же, и те ярые поклонники персоны Крамер, но Ева презирала таких лицемерных фанатов больше, чем честных ненавистников.

Те отмороженные последователи на самом деле не ценили ни идеи, ни открытия Евы, они просто извращали ее видение мира под свои извращенные желания и доставляли Еве больше головной боли, чем пользы.

— Да уж, годы тебя не пощадили, — многозначительно произнес Карл, прервав сорокалетнее молчание.

— Спасибо, стараюсь, — без капли сарказма ответила Ева, ведь она сама каждый день смотрит на себя в зеркало, и то, что она в нем видит, мягче описать просто невозможно. Жаль, что Софья за многие годы так этого и не поняла и продолжала осыпать Еву лживыми комплиментами, думая, что так будет лучше.

На деле же Еве было до лампочки на то, как именно она выглядела, пускай, собственное отражение ей и не нравилось. Последнее, чего хотела бы Ева — это то, чтобы ее запомнили за красивое личико. Годы ее и в самом деле не пощадили — но что это были за годы? Пятьдесят лет страха, боли, отчаяния, гнева из любого человека могут сделать ходячий труп.

Карл же был все такой же: брился начисто, прилизывал волосы, теперь, с недавнего времени, вероятно, уже даже подкрашивал. Все так же не полюбил строгие костюмы, а ходил в нелепых гавайских рубашках, кедах и мешковатых шортах. Как-никак шестьдесят пять лет человеку почти что. Тем не менее многие сорокалетние мужики мечтали бы быть в такой же форме, как всеми любимый мистер Миллер.

— Впрочем, думаю ты сама понимаешь, что прилетел я сюда не комплименты тебе кидать, Ева.

— Если честно, я понятия не имею, зачем мы вообще тут сидим.

— Но ты же прилетела? Подорвалась в собственный юбилей, стоило мне только тебя набрать. Как же это мило.

Ева бросила на него еле заметный снисходительно-разочарованный взгляд, который Карл все же распознал.

— Ладно-ладно. Прости. Не так уж легко выйти из образа, в котором ты пребывал почти всю свою жизнь.

— Если бы ты хоть пытался...

— Да я пытаюсь, честное слово. Думаешь, у меня сегодня дел не было? Я ради тебя отменил встречу с премьер-министром, знаешь ли.

Ева вздохнула и еще больше углубилась в огромное кресло:

— И что теперь? Мне тебе поаплодировать или в ноги тебе кланяться? Пожалуйста, мне не сложно.

И Ева принялась медленно и жеманно хлопать в ладоши.

— Да хватит уже, — не выдержал Карл, — прошу, хватит пичкать меня этот дешевой театральщиной, Ева. Несмотря на то, что мы не виделись бог знает сколько лет, я прекрасно знаю, что ты совсем не такая, какой пытаешься себя сейчас показать.

— А какая я, по-твоему?

Услышав этот вопрос, Карл приподнялся в кресле, принялся хаотично разводить руками и беззвучно шевелить губами.

— Тебе, может, это, врача вызвать? — с напускной тревогой произнесла Ева.

— Только если психиатра и только если тебе, — усмехнувшись, Карл вдруг повернулся и посмотрел Еве прямо в глаза. — Прошу тебя, хватит. Я, конечно же, понимаю — прошлого не вернуть и все в том же роде, но дай мне хотя бы шанс сказать тебе то, что не дает мне покоя уже больше пятидесяти лет. Неужели так трудно снять свои доспехи из насмешек и сарказма, просто помолчать и послушать меня?

— Был бы ты на моем месте...

— Был бы на твоём месте? Да что это вообще значит? Неужели нельзя просто взять и поговорить со мной по-человечески? Хоть раз? Или пятьдесят лет заточения в окружении бесхарактерных марионеток напрочь тебя испортило?

— Хо-ро-шо. Признаю. Я простила тебя уже черт знает сколько времени. Просто...

— А что тогда? Что? Ну, скажи это наконец! — взволнованный Карл вскочил с кресла.

— Что? Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Да, я больше не ненавижу тебя. Но это ведь не значит, что я могу просто щелкнуть пальцем и забыть все, что ты сделал. Тогда я буду чувствовать себя совсем уж идиоткой.

— Вот как? А вот сейчас, когда ты не можешь забыть уже истлевшие обиды, ты, значит, чувствуешь такой охренеть какой умной? Так, что ли?

— Да! Нет? Не знаю. Черт возьми, и зачем я только согласилась, — еле слышно произнесла Ева.

— Вот я тоже задаюсь тем же вопросом.

— Зачем ты согласился?

— Да нет, — усмехнулся Карл, — зачем ты согласилась, Ева? А ведь на самом деле — зачем? Ну зачем? Зачем тратить мое и собственное время, вместо того, чтобы по-человечески поговорить, ты на каждое мое слово плюешься ядом. Знаешь, я хотел приехать к тебе, поздравить тебя с юбилеем и потом искренне извиниться за всю ту дрянь, что я с тобой натворил, но теперь мне кажется, что ты все это заслужила, — Карл уже было порывался развернуться и уйти.

— Ладно-ладно, господин извинятель, сядь и успокойся. Выпить хочешь?

Карл, как по команде, успокоился и через мгновение сидел в кресле как ни в чем не бывало:

— А я уж и не надеялся, что услышу от тебя хоть что-то хорошее.

Ева с усилием вылезла из кресла — занятие для нее было нетипичное, ведь не было Софьи, чтобы помочь. Карл настоял, чтобы встреча проходила безо всяких посторонних лиц, и Ева была вынуждена согласиться.

— Что будешь пить? — Ева налегла на свою серебряную трость, чтобы не потерять равновесие и не упасть.

— А что у тебя есть?

— Да по большому счету все. Коньяк, виски, пиво, водка и прочее.

Карл поморщился:

— А просто воды у тебя не найдется. Знаешь же — я не пью. Вредно для здоровья.

— А моему здоровью, кажется, ничто уже повредить не может.

Вскорости Ева уже ковыляла обратно, а чуть позади нее парил, слегка пошатываясь, небольшой поднос с двумя на вид одинаковыми стаканами с прозрачной жидкостью.

— Водку? Утром? Стаканами? С таким образом жизни я не понимаю, как ты до восьмидесяти дожила.

Ева хрипло рассмеялась:

— Да вода это, вода! На, можешь сам попробовать. Пить одной как-то не с руки, знаешь ли, да и ведь за здоровьем начать следить никогда не поздно.

— Ты так говоришь, будто тебе есть с кем... — Карл осекся, — прости, привычка.

— Да чего тут извиняться? Так оно и есть.

— Так, а теперь все же пора мне приступить к той стадии разговора, которой я избегал, как только мог. Ты пойми, не такой я человек, который ходит и извиняется направо и налево. Ну нет у меня такой привычки, и все тут. Так что я не знаю, как это будет выглядеть со стороны. Боюсь, что очень глупо...

— Боишься?

— Да, именно боюсь и не стыжусь этого признать. А это ведь чего-то да стоит, разве нет? Прошу, попытайся меня понять — была бы моя воля, я бы вернулся в прошлое и сделал бы все иначе.

— Еще хуже небось?

— Да-да, смейся над тем, как человек, перед которым преклоняются почти что все мировые лидеры, тщетно пытается хоть как-то загладить свою вину.

— Да, сам себя не похвалишь — никто не похвалит, так ведь? Кстати, я все еще тебя богаче? Я просто не слежу за всей этой финансовой чушью.

— Что? Да нет, конечно. Я уже году так в сороковом стал богаче тебя раза так в два.

— Подумать только, сколько, оказывается, в мире интересного происходит, — задумчиво произнесла Ева.

— Да ты ведь никогда о деньгах особо-то и не думала, разве нет?

— Да, тут ты прав. Я, в отличие от некоторых, деньги дома не складирую.

— А ты больше читай желтой прессы и еще не такое обо мне узнаешь. Например, что я на самом деле вампир-гомосексуалист.

— Неужели? Знала я, что в тебе что-то не то!

— Да хватит уже. Дай извиниться по-человечески. Ну хочешь, я на колени встану перед тобой? Хочешь, все деньги отдам?

— И кто-то тут еще говорил мне про дешевую театральщину, — Ева демонстративно закатила глаза.

— Ну а как иначе? Если адекватные методы ты, кажется, не воспринимаешь. И к тому же перебиваешь меня через каждое слово.

— Да почему же? Все я прекрасно воспринимаю. Говори, пожалуйста, как я могу мешать богатейшему человеку мира говорить?

— Не богатейшему, нет. Даже не в первой десятке. Хотя неважно.

— Ага, неважно. Так неважно, что ты решил все же это сказать. Ой, прости, больше не перебую.

Карл выжидающе посмотрел на Еву и, выдержав небольшую паузу, продолжил:

— Ладно, похоже, простой путь в этом случае самый правильный. Я думал, как именно я должен извиниться, и короче, — Карл неловко выполз из кресла и, встав практически вплотную перед Евой, торжественно произнес: — Милая моя Ева Феликсовна, я знаю, что совершил много поступков, которые объективно являлись отвратительными преступлениями против достоинства вашей личности, но я вследствие того, что искренне сожалею о содеянном, прошу у вас прощения, и пускай я и не надеюсь на то, что вы когда-нибудь сможете меня простить, все же оставляю при себе на-

дежду на то, что от моих слов жить вам станет хоть чуточку легче. Прости меня, пожалуйста, Ева.

Ева приложила огромное усилие, чтобы не расхохотаться Карлу в лицо, но и не меньшее усилие ей понадобилось на то, чтобы подавить слезы. Повисло неловкое молчание.

— Ох, ну ты и выдал, конечно, ей-богу, — Ева ошарашенно качала головой из стороны в сторону.

— Что, не очень получилось? — Карлу теперь неловко было смотреть Еве в глаза.

— Ну, мягко говоря — да.

— Говорил же, не умею я этого делать, — обиженно произнес Карл и свалился обратно в свое кресло. В этот момент Еве показалось, что ему никакие не шестьдесят пять, а все те же шестнадцать.

— Не знаю, расстроит ли это тебя или обрадует, но сказать это я, кажется, обязана. Твое извинение хоть и было очень забавным, но было абсолютно необязательным. Видишь ли, я простила тебя уже давным-давно — кажется, я даже тебе об этом говорила. Так что можешь не переживать и вообще можешь забыть обо мне, ведь я больше не держу на тебя зла.

— Я тебя понял, — смиренно сказал Карл, — но неужели ты думала, будто я пришел к тебе с одними извинениями?

— Именно так я и думала и думаю так до сих пор.

— А зря. У меня для тебя есть одно предложение, если ты, конечно, готова его выслушать.

— Да говори уж, наш разговор вряд ли станет еще нелепее, чем сейчас.

— Ладно, наверно, мне просто стоит прекратить обращать внимание на твои язвительные фразочки, иначе мы никогда не договорим.

— Обращай не обращай. Знаешь, мне-то все равно. Делай как нравится.

— Чего ты хочешь от жизни?

— Чего я хочу? Да уж, ну и вопросыки у тебя. А черт его знает. Уже лет двадцать обо-то ничего не хочу, кроме, пожалуй, того, чтобы вернуть все назад.

— Я надеялся услышать что-то хоть мало-мальски реальное.

— Реальное? Был бы ты на моем месте, понял бы, что я давно уже потеряла ощущение того, что реально, а что нет. Да и зачем оно тебе?

— Зачем? Да, может быть, я бы и помог в чем-нибудь, если мог бы.

— Хорошо. Хочешь желание — получай, — Ева набрала побольше воздуха. — Я хочу умереть и хоть на день вернуть то время, когда меня еще все любили. На этом все. Аудиенция окончена, — Ева нажала на свой браслет и без особой нужды прикрикнула: — Зайди за мной, пожалуйста, Софья.

— Да, не вижу смысла продолжать, если ты не настроена на серьезный диалог, — Карл стал невольным свидетелем того, как Ева в сопровождении Софьи медленно уходит, еле шевеля ногами.

А Еве предстояло пережить один из худших полетов в ее жизни — Софья пускай и не имела права спрашивать Еву напрямую, взгляд ее пристальный ранил Еву так сильно, что не рассказать, как прошла та тайная встреча, Ева никак не могла.

Со злости Ева взяла и выложила все, как было. До последнего слова. И сделала она это оттого, что прекрасно понимала, что Соня будет разочарована услышанным.

— Так что? Это все? Какие-то жалкие извинения и тонны обоюдного нытья? Я бы-ла о вас лучшего мнения, Ева, — Софья резко остановилась, — пожалуй, последнего мне не следовало говорить вслух.

— А мне кажется, что мы друг друга стоим, Соня, — задумчиво произнесла Ева, пролетая над очередным небоскребом.

— Наверно, — замылась Софья, — кстати, у вас на счету уже давно не пять миллиардов.

— А сколько? — уныло поинтересовалась Ева.

— Чуть больше четырех.

— А куда делось остальное?

— А вы как думаете? — Софья окинула руками вокруг себя.

— А-а-а? А-а-а. Что ж, имеет смысл.

Софья впервые отвернулась от Евы и, посмотрев в окно, тихо произнесла:

— И почему те, кто имеет кучу денег, никогда их не ценят?

— Ну и глупость ты сейчас сказала, — оживилась Ева. — Да и к тому же я особо и не просила всех этих денег, что ты сама прекрасно знаешь!

— Оттого я и сказала это так тихо, чтобы вы этого не услышали.

— И что же? Только потому, что ты сказала глупость сама себе, та по волшебству вдруг перестанет быть глупостью? Самой-то не стыдно подобное говорить?

— Нет, — уткнувшись в иллюминатор, произнесла Софья.

— Да ты издеваешься, что ли? Второй раз под...

Софья прервала Еву, громко и агрессивно крикнув ей в лицо:

— Нет! Так мне нисколько не кажется, — но тут же поняв свою ошибку, Софья снова уселась и, положив руки на колени, приняла смиренную позу подчиненной.

Даже пилот, взволновавшись, через рацию спросил:

— Ева Феликсовна, у вас там все в порядке?

Ева не торопилась дать определенный ответ и, подмигнув, обратилась к Софье:

— Как считаешь, Соня, у нас все в порядке?

— Да, Сереж, у нас все хорошо, — ответила пилоту Софья.

Тем не менее Сережа, будучи не до конца удовлетворенным, был вынужден спросить еще раз:

— А у вас, мисс Ева?

— У меня тоже все в порядке. А летел бы ты быстрее, все было бы еще лучше.

— Быстрее нельзя — над городом же летим.

— И как это понимать? — обратилась Ева к Софье, уже не нажимая кнопки голосовой связи.

— Очень просто. Не стоит мешать людям делать свою работу.

Все же полет хоть и казался долгим, но и он был не вечен.

По прибытии Еву радушно поприветствовал умный дом, а Софья была досрочно отпущена погулять, и аж до самого завтрашнего утра. Пускай ее погулять было не чем иным, как уходом в дом напротив (о том, что Софья жила напротив Евы, не догадывалась ни одна, ни другая, как не догадывались они о том, как часто, чтобы запутать следы, они ездят и ездят кругами перед тем, как достичь точки назначения), все же это было приятнее, чем сидеть с дряхлой язвительной старухой. Тем более пока что Ева более-менее могла справляться со всем сама, ведь сердце и многие другие органы, что можно было поменять, были куда моложе и здоровее Евы в целом.

Ева отправила помощницу гулять не просто так — царицей мертвого королевства она была каждый день и, вероятно, еще успеет побыть ею чуть дольше. В день рождения хотелось сделать что-то не так, что-то не по графику.

Если было бы с кем, Ева, быть может, даже отпраздновала бы, пускай и формально. Можно было бы заказать огромный торт в честь праздника — Ева любила большие и жирные торты, вот только теперь этот вариант глупо было даже рассматривать, после того случая, когда Ева все же заказала торт на семидесятилетие и чуть не умерла от отравления. А все оттого, что какой-то поклонник умудрился отравить каждый торт в столице, который в тот день предназначался людям, которым исполнилось семьдесят лет.

По иронии судьбы, кажется, только Ева и выжила — ведь не у каждой старушки дома находилась собственная фармакологическая лаборатория. И, естественно, плачевные результаты этого покушения местные СМИ не постеснялись положить на совесть Еве.

Хоть отравителя героем не считали — и на том им спасибо.

Так что с того дня Ева и прикасаться боялась к тортам, не то что заказывать их себе домой.

Еве вспоминались дни рождения из ее молодости — тогда все было почти что так же: ни друзей, ни подарков, а вместо праздничных тортов и блюд — бутерброды с сыром и без масла, запиваемые каким-нибудь дешевым энергетиком.

И тогда, и сейчас, по сути-то, было всего одно отличие, но отличие это перебивало все сходства. Тогда, в дни ее магистратуры, аспирантуры и прочего, Ева имела то, что давно потеряла сейчас. Тогда еще Ева жила мечтой, надеясь, что то, на что она убила всю свою молодость, когда-нибудь выстрелит и окажется нужным и полезным окружающим. Так оно, в сущности, и произошло, но кто же признается в этом Еве? Она и сама это прекрасно знала, но как заставить себя в это поверить, если каждый вокруг только и делает, что плюет тебе в лицо и проклинает твое имя?

Сыр и булка в холодильнике были, но совсем не те, которые могла бы позволить себе студентка, что жила от стипендии до стипендии.

Это слегка разочаровало Еву, но выход все же был. При особом желании сейчас можно было заказать что угодно, и это что угодно тебе привезут настолько быстро, насколько много денег ты готов за это выложить.

Уже через пятнадцать минут Ева сидела на барном стуле на кухне и благодарила прогресс за то, что в ее время можно оплачивать все дистанционно и не было никакой необходимости видетсья с курьером лично.

Бутерброды все равно были куда вкуснее, чем тогда, но Ева прекрасно понимала, что ближе, чем сейчас, результата она уже не получит. Энергетик, хоть Ева тоже не помнила конкретной марки, на вкус был точно как из прошлого. Впрочем, что-то подсказывало Еве, что каждый современный энергетик имеет почти идентичный газированно-сладкий вкус.

Тот же, который достался Еве, гарантировал бодрость на следующие сорок восемь часов, и Ева все не могла решить — считать ли это плюсом или же напротив.

Ева и не заметила, как умерла, а если быть точнее, задремала на диване. Проснувшись почти что сразу, она не могла определиться — энергетик уже подействовал или еще не подействовал. Зная, с какой скоростью кофеин всасывается, Ева склонялась к первому варианту.

Чуть позже Еву навестил еще один артефакт из прошлого — Карл позвонил снова. Ева пыталась найти объективную причину на то, чтобы не отвечать, но осознав, что если не ответит, она станет переживать только больше, Ева все же решила ответить. Не здороваться, видимо, было одной из фишек Карла.

— Кажется, я знаю, как исполнить твое желание, — спокойно произнес он.

— Если ты про умереть, то я и без твоей помощи отлично справляюсь сама.

— Да нет, я про то, чтобы вернуть все, как было раньше.

— Да неужели? Неужто кто-то изобрел машину времени, пока летел домой?

— Да прекрати ты паясничать, твою же мать! А лучше просто послушай.

— Хорошо, слушаю, — Ева устроилась на диване поудобнее, приготовившись к долгому разговору. И оказалась права. Когда она повесила трубку, дисплей показал ей, что разговор длился один час двенадцать минут.

Впрочем, коэффициент полезности каждой той минуты был относительно низок: большую часть времени Ева с Карлом обменивались язвительностями и просили друг

друга замолчать. Остаток времени Карл объяснял Еве, как снять ограничение на перевод с ее счета.

Ева и не понимала, зачем для исполнения своего желания ей нужен Карл, пока тот не напомнил, что владеет одним из главных каналов в стране, и превентивно извинился за то, что тот канал уже который десяток лет неустанно поливает Еву помоями.

Карлу все-таки удалось убедить Еву согласиться. Исполнить желание Евы оказалось не так невыполнимо, как казалось раньше. Только и стоило, что через Карла пожертвовать все свои сбережения на благотворительность, а остальное сделает мистер Миллер с помощью своей телевизионной магии. Конечно же, Ева не исключала, что Карл просто возьмет их себе и забудет об обещании, но вспоминая, сколько именно тот имеет денег, сомнения Евы экспоненциально улетучивались.

Да и сама Ева понимала, что лично у нее никто денег не возьмет, то ли дело у Карла. Знала Ева и то, что Софья тут же принялась бы ее отговаривать, поэтому Софью вызывать не стала.

И так было прекрасно ясно, что это может с легкостью оказаться ловушкой, ведь Карл был из тех людей, которые могли сделать все для достижения цели. Но какая вообще цель могла быть сейчас? Ева уже давно была побеждена и растоптана. Акционеры компании, которую она же и создала, без зазрения совести прогнали ее куда подальше, когда ее ужасная репутация начала приносить значительный вред компании.

За это Еве даже и обидно не было — она бы и сама приняла такое решение рано или поздно.

А теперь, когда все решения были приняты, можно было и рискнуть — ведь рисковать уже было нечем.

О Софье Ева вспомнила только тогда, когда весь ее счет уже стал Карловым. И чтобы совсем уж не чувствовать себя виноватой перед человеком, который был рядом столько лет, Ева решила оставить той всю недвижимость, которой Ева владела. Ева пожалела, что нотариуса нельзя было вызвать на дом, и решила, куда бы ни собиралась везти ее машина, которую пришлет Карл, сначала они поедут заверять завещание.

Карл позвонил и сообщил, что машина прибует через двадцать секунд, к чему Ева была уже готова и, одетая, сидела в прихожей.

Тем не менее водителю все равно пришлось ждать: ведь Ева и не подозревала, что входная дверь, которой она почти никогда не пользовалась и тем более не открывала лично, окажется такой сложной и тяжелой.

Но даже выйдя из дома, Ева не сразу села в машину. Не удержалась обойти свой дом кругом, ведь обычно она покидала его только на автомобиле, который сразу же заезжал в гараж.

Дом оказался не таким большим, как казался изнутри и тем более не таким красивым. Он выглядел точно так же, как и любой другой в пределах видимости, что чуть разочаровало Еву. Но следующая мелочь, что бросилась ей в глаза, насмешила так, что перебила и скучный вид дома, и его унылые окна, через которые снаружи ничего не получалось рассмотреть.

Оказывается, все это время Софья жила прямо напротив Евы. Ева даже думала окликнуть Соню, но, подумав, что та тут же настоит на том, чтобы последовать за ней, а Ева не сможет той отказать, Ева решила, что лучше потом расскажет Соне обо всем произошедшем.

Автомобиль, который Ева обнаружила стоящим у своего участка, одним своим видом чуть было не отговорил ее ехать куда-либо. Ничего для Евы не было страшнее, чем проехать по людным улицам в машине с открытым верхом.

Ева хотела сначала позвонить Карлу, но она все же не стала. Не такой ведь Карл дурак, чтобы не знать, кого и как он посылает на такое важное задание.

И как бы ни сопротивлялся водитель, к нотариусу все же поехать пришлось. Он всю дорогу возмущался чем-то, но Ева нисколько его не слушала. Она заморожено сидела на заднем сиденье и наблюдала, как толпы народу стоят на улицах, дергают и толкают друг друга, не желая пропустить мгновение. А какого мгновения, Ева поняла не сразу, а только тогда, когда смогла все же прочитать, что за плакаты они держат:

Спасибо тебе, Ева!
Сделай это, Ева!
Наконец-то!
Мы так этого ждали!

Ева и поверить не могла, что Карл все же сдержал обещание. Они катались по городу туда-сюда, наворачивали круги по центру, движение на котором, возможно, приостановили именно из-за ее персоны. Как казалось Еве, это было уже слишком, но эта мысль почти не занимала ее голову, как и любая другая ее мысль, ведь они перебивались стройным «ура», что преследовало Еву, на какой бы поворот она ни свернула.

После долгой поездки в плане Карла был публичный обед Евы в одном из лучших ресторанов страны, куда пускали всех, кто не относился к прессе. Вообще Карл как-то слишком плохо относился к журналистам, как показалось Еве. До такой степени, что Карл убедительно попросил ее не смотреть новости хотя бы до вечера. И Ева не стала спорить.

На ужине, первом за долгие годы, Ева не могла съесть и куска без того, чтобы кто-нибудь не взял и не подошел к ней, сказав пару приятных слов.

Сначала такое ее пугало, но ближе к десерту Ева даже чуть привыкла. Мысли о том, что это были купленные Карлом люди, все же посещали Еву, но купить столько людей, сколько она видела на улицах, физически было невозможно.

И неужели на людей так сработал ее последний благотворительный жест? И неужели теперь так будет всегда? Неужели они взяли и забыли все то, что думали про ее персону еще вчера?

Но всему, и в особенности всему хорошему, свойственно когда-нибудь да заканчиваться.

Ближе к ночи Ева снова стояла у дома, где ее ждал еще один сюрприз — весь дом ее был усыпан букетами и открытками. Ева хотела было прочитать, что написано хотя бы в одной, но, к сожалению, дождь, размочил их.

Тем не менее те, что лежали внизу, были еще вполне сухими, и одну случайную Ева забрала с собой, оставив остальные мокнуть под ливнем.

Она хотела тут же включить телевизор, но передумала. А вдруг там и правда до сих пор крутят про нее всякую грязь? К тому же это, возможно, был самый шумный день за всю ее жизнь, и побыть хоть немного в тишине сейчас было довольно приятно.

Открытка с изображенной на ней одной большой астрой и не менее большой розой, которую Ева спасла от ливня, гласила: *«Спасибо тебе за все, Ева. Мы все этого так хотели и так ждали. Но мы думали, что такого никогда не случится. А вот оно оказалось как».*

Кто были эти мы — Ева точно сказать не могла. Но раз уж это не было ни проклятием, ни угрозой, то так ли важно на самом деле, кто именно был автором этого?

Ева все еще была одна — Софья прибудет только завтра.

Ева все же включила телевизор и не увидела там ничего, что тут же могло развеять ее шаткое сегодняшнее счастье.

Телевизор задавал один вопрос: сдержит ли Ева Крамер обещание, что она дала сегодня утром?

Ева и не поняла, что за обещание, пока ведущий не напомнил про деньги. Неужели Карл все же оставил все деньги себе? Тогда отчего народ сегодня так искренне был рад ее видеть?

Но нет, деньги на самом деле уже давно лежали на сотнях счетов разных благотворительных организаций, о чем с гордостью сообщил ведущий фразой позже.

А после короткой рекламной паузы Ева наконец впервые услышала обещание, которое она, оказывается, дала сегодня утром. Табло за спиной диктора показывало одиннадцать часов и с каждой секундой все больше приближалось к нулю:

«Этим утром широко известная Ева Крамер, кажется, одумалась впервые за пятьдесят долгих лет и порадовала нас двумя отличными новостями, поставив лишь одно условие — в следующие двадцать четыре часа к ней будут относиться как к хорошему человеку. Впрочем, это было даже нетрудно, и она это вполне так заслужила. Должен признаться, для такого поступка нужна немалая сила воли, самоотверженность и храбрость. Все мы знаем, что никогда не поздно, даже в случае нашей любимой Евы, никогда не поздно встать на путь истинный. Отдать все свои деньги — поступок безусловно достойный, что уж там говорить об обещании покончить с собой ровно тогда, когда таймер, что висит за моей спиной, покажет ноль. На этой радостной ноте я прощаюсь с вами, и не забудьте включить свои экраны в семь часов, чтобы первыми узнать, чем же все закончится. Доброй ночи!»

Еве, в отличие от всех остальных, не было нужды ждать семи утра, чтобы увидеть конец этой истории. Она и так прекрасно знала, чем всему суждено кончиться.

Ева допила энергетик и усмехнулась, прочитав его обещание еще раз. Зашла в спальню, открыла ключом маленький ящичек в маленькой белой тумбочке, достала его содержимое и села на кровать.

Даже приложив холодное дуло к виску, Ева не могла отделаться от мысли, что сегодняшний день оказался лучшим во всей ее жизни.

ФЕДЕРИКО АЛЬВАРЕС

Кроме этого зала и зала следующего, полутемные очертания которого, если присмотреться, можно было разглядеть сквозь высокую толстую арку, был еще третий, в соседнем корпусе, на втором этаже.

Оттого, пускай Федерико и было любопытно посмотреть на ранние работы Альвареса, в подобном удовольствии приходилось себе отказывать.

Блуждая каждый день из одного конца галереи в другой, Федерико постепенно начал считать, что нарисовать все это множество картин ему было куда проще, нежели обходить их сейчас.

И если бы память его не подводила, то Федерико, вероятно бы, узнавал бы тех, кто так же, как он, снова и снова приходят в галерею, только по каким-то другим, ему неизвестным, причинам.

Федерико получал некоторое удовольствие, наблюдая в лицах людей то выражение, которое почти с полной уверенностью означало, что люди, с которыми Федерико иногда сцеплялся взглядом, даже и не подозревали, кто перед ними стоит.

В жизни Федерико больше ничего не оставалось, кроме как дожидаться одиннадцати утра, до того, как галерея откроется, и не уходить из нее до самой темноты.

Когда Федерико нужно было отдохнуть, он уходил пересидеть в кафе при музее пить кофе с завышенной ценой.

Но цена чего бы то ни было в этот период жизни волновала Федерико в меньшей степени. Даже отбросив свою пессимистичность, Федерико понимал, что денег у него больше, чем он сможет потратить. А денег у него было не так уж и много.

Завершить еще один круг своего привычного маршрута Федерико не позволила девушка, хоть та только и делала, что вглядывалась украдкой Федерико в лицо, думая, что тот не замечает.

А Федерико обычно такого и не замечал — но в этот раз заметил. Девушка смотрела на него пристальными, большими, почти что глупыми глазами, неловко улыбаясь и слегка поглаживая свое длинное темно-серое платье.

— Мистер Альварес, я хотела бы вам сказать, что я ваша самая большая и, вероятно, самая первая поклонница, — улыбнулась она еще более явно и нелепо.

— Рад за вас, — Федерико так давно уже толком не говорил ни с кем, что, к своему некоторому сожалению, обнаружил, что речь его звучит совсем уж плохо, — вот только я сомневаюсь, что это на самом деле так.

— Должна вас заверить, что у меня нет никакой причины говорить вам неправду, мистер Альварес.

— Это не так уж и важно. Должен сказать, что я рад, что хоть кто-то из здешних меня узнал. Иногда мне казалось, что я умру, но так и не дожусь подобного.

— Вам бы стоило быть поосторожнее со словами, — строго заявила девушка, все еще не сняв с себя добродушной улыбки.

— Если бы я мог управляться со словами, то я, возможно, ни одной картины бы и не написал.

— Впрочем, это не так уж и важно, — девушка не стала ждать и тут же сменила тему. — Не откажетесь выпить со мной чашечку кофе?

— Не откажусь.

* * *

В кафе каждый, даже самый маленький звук, отдавался эхом, Федерико приходилось говорить шепотом, а девушке до этого не было никакого дела — та не переставала восхищаться, крутя головой из стороны в сторону, стараясь разглядеть самые незаметные углы, даже те стены не смогли избежать работ Альвареса.

— И как вам только времени хватило написать столько?

— Ха! — болезненно усмехнулся Федерико. — На все это я меньше всего времени потратил — куда больше у меня ушло на то, чтобы продать эти картины кому-нибудь — да и для чего? Обычно, чтобы купить красок или той же еды.

Федерико, не поворачивая головы, махнул в сторону картины, что висела у него прямо над головой:

— Вот на эту мне иной раз даже взглянуть стыдно, стоит мне только вспомнить, как я ее писал. Вот вы, вероятно, думаете, что у этой башни цвет вдруг меняется не просто так, что у этого мертвого черного цвета там наверху есть какой-то свой особенный смысл. Разве вы так не думали?

— Я, если позволите, воздержусь от однозначного ответа.

— Понимаю, — вздохнул Федерико, — но вы так рано не разочаровывайтесь во мне. Хотя бы потому, что это не совсем то, куда я клонил. Вот та верхушка башни, которая иногда и меня убеждает, что так все было и задумано — изначально эту стену я дорисовал даже не красками. Если вам интересно, я даже могу рассказать, как все вышло именно так, как мы с вами видим сейчас.

Девушка молча кивнула.

— Тогда была зима или же осень, а может, ни то ни другое — это не слишком и важно. Для меня в то время времена года отличались по большей части тем, что в одни подработки было найти легче, а другие — труднее. Вот я, кажется, говорил вам, что продавал картины за бесценок — так и это ко мне не сразу пришло. После армии я толь-

ко тем и занимался, что всякой подработкой: кому дров срубить, кому огурцы собрать, ящики разгрузить. Делал что придется, тогда даже толком и не надеясь, что мое увлечение куда-то меня приведет.

— Но ведь привело же, — девушка окинула залу руками.

— Лучше бы эта слава пришла ко мне хотя бы лет на десять-пятнадцать раньше. Вы ведь только представьте — с того момента, как я вдруг оказался модным в этих относительно широких кругах, я не написал ни одной новой картины. Оттого от всей этой пафосной выставки меня иногда воротит, и ощущение такое создается, будто бы я донашиваю вещи своего старшего брата. И вроде бы это мои вещи, а вроде бы и нет. Черт возьми, да я даже не смог бы доказать, что это мои картины, ведь посмотрите, — Федерико приподнял полупустую чашечку кофе, которая, несмотря на свою пессимистичность, казалось, вот-вот разольется, — что уж говорить о кисти. Я бы, вероятно, и не узнал бы половины своих картин, без шуток. Помню, год или два назад, когда меня приглашали на одну из выставок, куда меня они, дураки, пригласили открыть мой уголок с картинами... Знаете, что тогда случилось? Меня угораздило встать не в тот угол, и я минут пятнадцать рассказывал о картине, которую видел впервые так, будто она была моя...

— А что же случилось потом?

— Куратор незаметно всунул мне бумажку, в которой недвусмысленно дал мне понять, как же нелепо я ошибся.

— И чем же это кончилось?

— Да, в сущности, ничем особенным. Может, написали в паре местных газет и забыли, как забывают и о сотнях других, куда более значимых вещах, — Федерико задумался. — И почему я помню только самые бесполезные части моей жизни?

— Так часто бывает, — непринужденно ответила девушка на вопрос, который и ответа-то не предполагал. — Вы так и не рассказали о той истории с башней.

— Неужели? А что там рассказывать. Краски черной у меня не было, денег на нее тем более, а Марта, добротой и квартирой которой я тогда пользовался, пусть и любила меня, но не настолько, чтобы создавать деньги из воздуха. Но не настолько, чтобы простить мне то, что я истратил всю ее тушь на покраску той, не такой уж красивой башни. Вот сейчас я вспоминаю об этом и все больше склоняюсь к тому, чтобы жалеть о содеянном. Башня все равно вышла плоховато — с таким же успехом я мог раскрасить ее в любой другой цвет, и результат был бы ничуть не хуже. А тушь-то была хорошей — Марте, кажется, тетя ее прислала из Франции, а я вот так варварски эту тушь истратил. После той картины мне пришлось все же съехать от Марты.

— Неужели из-за туши?

— Из-за туши, да не в том смысле, который первым приходит в голову. Марта, естественно, не могла ни заметить пропажи, и уже на следующее утро она недоуменная стояла передо мной, еще толком не проснувшись (у нее в отличие от меня была какая-то постоянная работа), и вопрошала, куда я дел тушь. И уж не знаю, что на меня тогда нашло, но я всячески принялся отрицать свое причастие к туши. Практически сразу я осознал, насколько неудачным было мое решение. Уж не знаю отчего, но Марта подумала, что раз уж я не признаюсь, то мне есть что скрывать, а раз уж мне есть что скрывать, то... — речь Федерико замедлилась. И так сильно, что девушке пришлось спросить:

— То что?

— Да то, что Марта с чего-то решила, что у меня есть любовница. И ладно, это еще я могу понять, но Марта решила, что я привожу эту любовницу к ней же домой. И ладно, что домой, но, кроме этого, моя выдуманная любовница имела наглость пользо-

ваться Мартиной тушью, и это было для Марты уже слишком. Как я ни пытался переубедить, как ни пытался дать ей понюхать картину и убедиться самой, но сделать я ничего уже не мог.

— Так она не поверила?

— Да почему же — поверила. Но так поверила, что лучше бы и не верила вовсе. Всем своим видом Марта показывала мне, что не хочет больше меня видеть в своем доме, и я решил уйти сам, не дождавшись, пока она скажет все, что обо мне думает, вслух. Картину, кстати, не знаю уж зачем, но я тогда у нее и оставил. И не то чтобы в качестве извинения, а, скорее, оттого, что мне и до этого, в своем незаконченном виде, та работа не сильно и нравилась. Да и не имея постоянного жилья, не так легко носить с собой все, что тебе только вздумается.

— А как же картина оказалась здесь, если вы так ее и оставили?

— А я откуда знаю? Кто-то купил ее у Марты за бесценок — сомневаюсь, что Марта на самом деле оставила себе ту картину надолго. А когда моя слава меня догнала, то этот покупатель решил продать ее сюда. Но и других людей эта башня не смогла толком обмануть — ведь какая хорошая картина будет висеть в пускай и роскошной, но столовой?

— А что же, от этого она становится хуже? — возразила девушка.

— А разве лучше? И какая вообще разница, что где висит?

Повисла тишина, но ненадолго.

— А сейчас вы работаете над чем-то?

— Неужели на этот вопрос действительно нужно отвечать? И даже если бы я до сих пор мог держать в руках кисть, то рано или поздно ко мне пришла бы полная уверенность в том, что мне больше нечего сказать.

— А пока это все же сомнение? — задумчиво спросила девушка, покачивая головой то в одну, то в другую сторону. Но Федерико хоть и смотрел в ее сторону, но в то же время и куда-то мимо.

— Пока да. И мне с этим сомнением недосказанности пока что приятнее. Да и кажется мне, что в той ситуации, к которой я в итоге пришел, ничего лучше выйти и не могло.

— Так что, если бы ваша жизнь сложилась бы по-другому, вы считаете, что все могло бы быть иначе? — с воодушевлением в голосе спросила девушка.

— Кто же его знает. И какой смысл говорить о том, что уже никак и никогда не произойдет? Меня мало что может расстроить, но это одна из тех немногих тем.

Федерико потянулся вставать, но делал это так медленно, что девушка успела осторожно положить ладонь ему на руку.

— Простите, я не это хотела сказать.

— Не стоит. Если все же попытаться ответить на ваш вопрос, то да — было бы у меня больше времени на то, чем я на самом деле хотел заниматься, то и результатов сейчас было бы куда больше. Или же хотя бы я был всем этим доволен куда сильнее...

— Может, нам уже пора? — перебила его девушка.

— Я как раз хотел предложить то же самое.

— При всем уважении, я очень в этом сомневаюсь, — улыбнулась девушка и выскочила из-за стола так ловко, будто бы ее длинное темно-серое платье существовало от нее отдельно.

Федерико не стал спорить и пререкаться и пошел вслед за девушкой.

— А я так и не узнал вашего имени.

— Я думаю, скоро вы сами обо всем догадаетесь.

Они вышли из кафе, прошли в первый зал по длинному коридору, из первого коридора во второй, а из второго на улицу. Войдя с улицы в дальний корпус, Федерико

не сказал ни слова, пока они не дошли до лестницы на второй этаж, что вела в третий зал выставки.

— Неужели мы пойдем и туда?

— Увидите, — проговорила девушка, готовясь то ли рассмеяться, то ли расплакаться.

— Но зачем?

— Все увидите!

И да, Федерико увидел все, что ему было только нужно. Его тело лежало между «Двумя рыцарями» и еще одной картиной, названия которой Федерико вспомнить не мог. С картины на Федерико меланхолично смотрел мужчина с редкой бородой и позолоченным кубком вместо левого глаза.

Вокруг людей, как и обычно в третьем зале, было не так уж и много. Но никто, казалось, не обращал внимания ни на живого Федерико, ни на мертвого.

Федерико обернулся на девушку, и та выглядела куда более недоуменно, чем он.

— Вероятно, стоило сказать вам об этом как-то иначе, но я так и не придумала ничего лучше.

Федерико понял все, что Смерть хотела, чтобы он понял.

— Я даже и не удивлен. Рано или поздно это все же должно было случиться. У меня только один вопрос...

— Все то, что вокруг вас, Федерико, сейчас не в полной мере реально.

— Правда? Даже кофе? — Федерико хмыкнул. — Но я не об этом хотел спросить.

Федерико вздохнул, потом вздохнул еще раз.

— А как я вообще тут оказался? Я же тут почти никогда не бываю. Последний раз я тут был, кажется...

— Неделью назад, да.

— И что, я неделю назад тут так и лежал?

Смерть неловко скрестила руки и тихо ответила:

— Да.

— И как люди отнеслись к этому? — Федерико подошел поближе к телу.

— Почти что никак. Несколько статей, слова соболезнования от тех, кого вы при жизни считали если уж не врагами, то соперниками...

— И все? — огорченно произнес Федерико.

— Еще выставку переиначили, добавили туда пару картин, которые даже я с уверенностью не могу назвать вашими, и открыли траурную выставку. И да, в ней все расставлено не так — можете даже не спрашивать. Нет никакой системы — ни по возрасту, ни по атмосфере, ни даже по тем переиначенным циклам.

— И чем им старая не нравилась? — Федерико сел на корточки, чтобы рассмотреть себя поближе, осознав, что раз уж он уже мертв, то никаких болей в теле у него быть не должно. И он оказался прав.

Смерть промолчала и неслышно подобралась к Федерико.

— Получается, что это все? Хотя не отвечай, не хочу портить себе сюрприз. Только дай мне немного времени собраться с мыслями. Понимаю, что я и так опоздал на неделю, но я ведь могу присесть вон там?

Федерико указал на барочный стул в углу, на что Смерть пролепетала:

— Да, конечно.

— А ведь интересно, — Федерико пытался устроиться в кресле поудобнее, но никак не мог подобрать подходящую позу, — делать мне больше нечего, но уходить все равно не хочется. И кажется теперь, будто бы совсем не то время, да и место не совсем то, — Федерико наклонился и положил руки на колени. — Ты, наверно, слышишь подобное слишком часто, да?

Смерть ничего не отвечала, стояла посреди комнаты, стараясь не смотреть на Федерико. Но и на тело она не смотрела.

— Таковы правила, — Смерть стояла так, будто бы пол под ней, и только под ней, качался. Смерть заламывала руки, не задумываясь о том, какое впечатление она может создать о себе в чужих глазах. — Мне правда очень жаль, я и так прождала так долго, как только могла.

— Полагаю, мне не стоило соглашаться на кофе, — Федерико усмехнулся, но не улышал даже улыбки в ответ.

Смерть слушала Федерико, и с каждой последующей его фразой она все меньше хотела находиться здесь и сейчас.

Федерико видел, как с каждой минутой лицо Смерти становится все грустнее.

— Ты выглядишь так, будто бы не мне умирать сегодня. Хотелось бы мне посмотреть на свое лицо, да боюсь, что на то есть какая-нибудь страшная плохая примета, которую я теперь уже и не вспомню.

И чем больше Смерть пыталась сдержать слезы, тем яснее она понимала, что ничего сдержать не получится. И решив не дожидаться худшего, Смерть опустилась на колени над телом Федерико и, упершись в спину его старого пиджака, тихо всхлипывала.

— А быть не так уж и плохо, как я думал — я даже почти что чувствую себя молодым, если не смотреть себе, не смотреть себе на руки.

— Вы не мертвы! — с непонятным для Федерико отчаянием, приподняв голову, прокричала Смерть и уже куда тише добавила: — Пока что не мертвы.

— Но я и не жив, разве нет? А что же со мной тогда?

— Я не знаю, как это называть, да и не знаю зачем. Обычно я не жду так долго, чтобы это имело хоть какое-то значение.

— Может, тебе и не стоило ждать? А то все выходит, как в истории с хозяйкой, что так жалела своего доbermana, что отрезала ему хвост не сразу, а по кусочкам. А ты мне еще такой милой показалась — давно меня никто никуда не приглашал. Вот только зачем было так нагло расхваливать мои картины — этого я понять не могу.

— Неужели, прожив столько лет, вы до сих пор не научились отличать искренность от лести?

— Быть может, и не научился — да и теперь не научусь уже. Зато я успел понять, что ни то ни другое, в сущности, не так уж сильно и важно.

Федерико еще раз вздохнул, еще раз взмахнул руками и повторил:

— А все же жаль. Как бы глупо это ни было, но все же этого я никак не ожидал.

— Мистер Альварес, прошу, прекратите! Вы не делаете всю ситуацию легче.

Федерико расхохотался:

— А неужели я должен? Иначе что? Вы меня убьете? — Федерико расхохотался, и хохот его одиноко разлетелся далеко по всему корпусу. — Давно у меня столько воздуха не было в груди.

— Это уже не воздух, — язвительно заметила Смерть.

— Для меня вполне воздух. Воздух, которого я больше никогда не попробую на этом свете!

— Да как же вы не можете понять, мистер Альварес: я без ума от ваших работ.

— Рад слышать, конечно, но мне-то теперь что с того? Неужели ничего нельзя сделать? Неужто мне не положено никакого прощального подарка?

— Я и так подарила вам неделю, — прошептала Смерть так скрытно, будто их разговор кто-то мог подслушать.

— Хороший подарок, ничего не скажешь. Подарок, о существовании которого я даже и не подозревал. Ничего лучше ты придумать не могла.

А Смерть могла, просто ей пока что не представился удобный момент.

— Я могу, — запнулась Смерть, — я хочу дать вам желание, — Федерико было уже начал что-то говорить, но Смерть остановила его взглядом. — Только прошу, не желайте ничего такого, чего не может быть у обычного человека. Никакой вечной жизни или бесконечных желаний, прошу.

— Так ты еще и желания исполняешь? Может, ты еще и пиджак мне зашьешь, а то у меня там дырка образовалась.

— И это ваше желание, мистер Альварес? — оживилась Смерть и встала наконец с безжизненного аналога Федерико.

— Тьфу ты, да нет! — и тут Федерико задумался. Куда дольше, чем изначально ожидал. У каждой идеи, которая приходила ему в голову, на каждый плюс приходилось по два минуса, а озвучивать свои прототипы желаний Федерико немного опасался.

— Если бы я мог прожить все заново.

— Это... — Смерть не могла продолжить, хоть и прекрасно знала, что хочет сказать.

— Невозможно? Так я и думал, но спросил на всякий случай, вдруг выйдет.

— Нет, я не это хотела сказать. Это, это... именно то, что я хотела от вас услышать, мистер Альварес.

— Но, дай угадаю, это все равно невозможно?

— Давайте вы больше ничего не будете пытаться отгадывать, мистер Альварес. Но то желание, которое вы все же озвучили, если вы бы спросили меня — то лучше варианта нет. Только представьте, сколько новых картин вы могли бы написать? Вы ведь сами признались, что было бы у вас время...

Смерть оглянулась по сторонам и отчасти тут же пожалела, прекрасно понимая, что еще долго не сможет спустить глаз даже с худшего экспоната этой объективно самой слабой части выставки Федерико Альвареса.

— Теперь я понимаю, что не из-за меня вы задержались тут на неделю.

Смерть даже не попыталась сделать вид, что обращает внимание на Федерико.

— А что же это, если не вы? — Смерть указала на картину перед собой, с которой свисал тленок в чине младшего лейтенанта, пока Федерико отчаянно пытался вспомнить, как он ту картину назвал.

— Да это может быть что угодно. Я отсюда даже толком разглядеть ничего не могу!

— Так вы действительно хотите прожить жизнь еще раз?

— Да, еще раз, заново — главное, чтобы не умирать сейчас.

— Еще раз и заново — это немного разные вещи.

— Неужели? А для меня звучат как-то одинаково. Да я и немного сомневаться начал, может, это желание не так хорошо, как мне кажется, раз уж ты так агитируешь меня именно за него.

— Почему так? Неужели я сделала вам что-то плохое?

— Пока что, кажется, нет. Но определенно собираешься.

— Да нет у меня выбора, как можно этого не понимать. Я могла бы вовсе не приходить, и ничего бы толком не поменялось.

— Так, может быть, приходить и не стоило? — Федерико напускно разозлился и скрестил руки.

— Хватит, — отрезала Смерть. — Просто выберите это желание, оно правда очень хорошее, я обещаю.

— Хорошо, — снисходительно ответил Федерико, — и как ты себе это представляешь?

— Как? — Смерть задумалась. — Вы, мистер Альварес, станете снова молодым — вот и все.

— Так я что, отправлюсь в прошлое?

— Не только вы. Все вернется в то состояние, когда вам было, ну, скажем — двадцать.

- И почему именно двадцать?
- А разве не хорошее время? Вы только что отслужили в армии, и вот, можно сказать, мир перед вами открыт.
- Скажешь еще, открыт. Так и проведу свою вторую жизнь, разгружая огурцы на рынке. Неужели у меня не может быть денег?
- Смерть стояла и не могла найти себе места рядом с этим умирающим стариком. Руки и ноги ее казались ей куда более чужими, чем даже конечности окоченелого Федерико, что распластался на роскошном деревянном полу.
- Могут быть и деньги. Если они вам помогут, то почему бы и нет. Вы получите наследство от дальнего родственника.
- Или еще каким-нибудь глупым путем. Это не так уж и важно. Вопрос второй: а что с моими воспоминаниями?
- Они останутся.
- Неужели тебе кажется, что это хорошая идея? Ведь все картины, которые ты тут видела, пропадут, если я правильно понял, а перерисовать я их, даже при всем желании, не смогу. Вернее, смогу — но то будет уже совсем не то. Ты должна понять.
- Но я не могу очистить вам воспоминания — а вдруг вы забудете свое предназначение? И все это будет напрасно.
- За это не переживай. Мама рассказывала мне, что я начал рисовать еще раньше, чем научился ходить. Да и куда у меня талант денется?
- После недолгих убеждений Смерть все же сдалась, услышав обещания Федерико, что тот нарисует так много картин, что ими можно будет обложить весь экватор, а остатка хватит, чтобы заполнить Эрмитаж и Лувр до краев.

* * *

Сдавленный, взволнованный, но все же искренний смех Смерти был последним и первым, что Федерико услышал.

Дома его ждала мать. Она и не ожидала, что Федерико вернется из армии именно сегодня. Но все же она была рада, что ее сын снова оказался дома.

Каждый раз, когда Федерико ходил на кухню, он и в коридоре на стенах, и на холодильнике видел рисунки — некоторые еще из детства, остальные из художественной школы, и все тело его наполнялось сильным, но непонятым чувством, от которого дыхание невольно надламывалось.

Летом одинокое письмо издалека сообщило, что дядя Карло по отцовской линии умер, чему Федерико так неясно и стыдливо радовался.

Не дошло и до осени, как Федерико, получив свою часть, уехал далеко, на виллу, которая принадлежала дяде. Федерико и не заметил, как мать украдкой положила ему в чемодан все его, как ей казалось, лучшие рисунки.

Федерико умилился этому поступку, и даже поначалу все его стены были увешены старыми рисунками, но чем больше времени проходило, все больше людей, которые пользовались гостеприимством Федерико, спрашивали, неужели у Федерико уже есть ребенок, вынудив новоиспеченного миллионера аккуратнo, но все же сложить все свое прошлое в далекий отдел письменного стола.

Федерико радовался жизни, но, казалось, чего-то так и не хватало. Руки то и дело чесались, вспоминалась художественная школа, да и мать звонила и каждый раз напоминала, что когда-то Федерико хотел стать художником.

И Федерико наконец-то вспомнил. Купил мольберт из красного дерева, холст два метра на три, красок, кисточек из соболиного меха и сел рисовать. Идея пришла почти что сразу — написать великую картину о любви, предательстве и о всем вечном.

Два дня кряду Федерико оккупировал мольберт и не принимал ни гостей, ни порой даже прислугу. Никто не видел, как он пил или справлял нужду.

На третий день Федерико встал из-за мольберта и отдал холст служанке, приказав найти подходящую позолоченную рамку.

Картина висела над самым камином, и каждый раз, когда к Федерико приходили на вечеринку, тот непременно хвастался, что это он нарисовал. А гости ему отвечали, что и женщина, и роза великолепны и их не отличить от фотографии. Говорили, что Федерико прямо как настоящий художник.

А Федерико слушал все это и молчал, лишь иногда поеживаясь в своем шелковом халате от ветра, что доносился с веранды.

А прожил он долго — почти что сто лет. Словно кто-то до последнего от него чего-то ждал.

А на фамильном склепе на постаменте под огромной статуей ангела так и написали: *«Федерико Альварес. Тот, кто обманул смерть дважды».*